

published a lot of empirical and theoretical works sometimes exceling so-called «world level». Declaring the necessity of field studies and working over national problems in Russia and the former USSR, the author marks paramount importance of the theoretical problems, such as history of primitive community. Studies of foreign countries' ethnography and historiography are also of great importance.

G. E. Markov

© 1992 г., ЭО, № 5

В. А. Шнирельман

## НАУКА В УСЛОВИЯХ ТОТАЛИТАРИЗМА

Участие в терминологическом споре или в дискуссии о предмете и объекте науки никогда меня не вдохновляло, тем более что проходившие в 1960—1980-е годы баталии такого рода, отнимавшие у своих участников много сил и энергии, имели более чем скромные результаты: гора рождала в лучшем случае мышь. Жизнь шла своим чередом, и даже спорщики-реформаторы в своей практической деятельности, как правило, пользовались традиционным научным аппаратом. Новая терминология упорно не желала приживаться. Отчасти это, правда, объясняется и тем, что в указанных баталиях принимала участие узкая группа посвященных, подавляющее же большинство специалистов были как бы «не вхожи». Стоит ли удивляться, что последних мало волновали эти споры, то и дело сбивавшиеся на холостой ход, сближаясь со средневековой схоластикой.

И тем не менее сейчас я отступаю от своего правила. Почему? Да потому, что дискуссия, открытая В. А. Тишковым<sup>1</sup>, и по своим установкам, и по атмосфере, в которой она происходит, разительно отличается от прежних. Теперь речь действительно идет о судьбе нашей науки, да и о нашей собственной судьбе в условиях резкой ломки не только прежних общественных структур, но и менталитета. Сейчас мы переживаем время, далеко не самое благодатное для развития нашей науки, как впрочем и для народов нашей страны вообще. Люди выбиты из привычной колеи и во многом дезориентированы. Ведь мы до сих пор не имеем четкого представления даже о названии государства, в котором живем. Что уж говорить о названии науки? И все же, все же... Тот, кому действительно дорога судьба науки, не может не задумываться над тем, что ее ожидает. А это, разумеется, требует оценки нынешнего ее состояния, которое нельзя не признать острокритическим. Другое дело, когда и как возник этот кризис: стал ли он следствием взрыва этничности, происшедшего в недавние годы, и неблагоприятной экономической конъюнктуры; явился ли результатом «подрывной» деятельности Ю. В. Бромлея, как считает В. Н. Басилов<sup>2</sup>; или же сопровождал нашу науку на протяжении всего советского периода, как это представляется В. А. Тишкову<sup>3</sup>.

У меня есть серьезные основания сомневаться в том, что соответствующий анализ, если он действительно претендует на глубину и объективность, может быть ограничен критикой самой дисциплины или своих коллег без учета общественно-политического контекста. Равным образом я не убежден, что одни только ссылки на внешнюю обстановку могут адекватно объяснить процессы, происходившие в нашей науке. Всегда и везде наука, прежде всего гуманитарная, выполняла и выполняет определенный социальный заказ, чем, в частности, и оправдывает свое существование. Кстати, именно поэтому было бы наивным полагать, что ее можно полностью деидеологизировать. И в то же время каждая наука, обладая специфическими подходами, инструментарием и теоретическим аппаратом, развивается также и по своим собственным внутренним законам, выдвигая и решая специфические, присущие лишь ей задачи. В этом заложена определенная двойственность, ведущая иногда даже к существенным противоречиям между внутренними и внешними стимулами и запросами. Это, безусловно, отражалось и на судьбах ученых в зависимости от их роли и места в этой

достаточно сложной системе. И, видимо, нет нужды приводить имена подвижников, самими результатами своих исследований входивших в конфликт с господствующей идеологией и правящей верхушкой и жестоко поплатившихся за «крамолу». Такое, пусть и редко, встречалось даже в условиях демократии (вспомним Сократа). А в обстановке тоталитарного режима погромы в кибернетике и генетике, затяжная травля лингвистов, периодические чистки в социологической науке и т. д., происходившие в СССР, являлись, пожалуй, закономерностью. К сожалению, гораздо менее известна история аналогичных гонений в этнографии, и в этом отношении я готов поддержать упреки В. А. Тишкова этнографам, до сих пор проявляющим определенную пассивность в изучении недавнего прошлого нашей науки, что вряд ли можно объяснить одной лишь «нелюбознательностью».

И в то же время что конструктивного может внести в нашу науку огульное охаивание всех своих коллег без разбора? В. А. Тишков справедливо сетует на обидные и далеко не всегда заслуженные упреки, обрушившиеся на этнографов в последние годы<sup>4</sup>. Но чем кардинально отличается от них тот имидж, который сам он рисует в отношении как науки в целом, так и представителей отдельных ее подразделений? И какова цель этого лихого демарша? Да, в нашей науке много недостатков и много проблем, которые уже давно ждут своего решения. Но неужели такая достаточно поверхностная и неконкретная критика — это именно то, что способно улучшить ситуацию? И, повторяю, можно ли оценивать достижения или промахи советской науки без учета ее места в общей структуре идеологической системы? Можно ли искусственно изымать науку из всего социально-политического контекста?

Ведь призыв к самокритике в условиях, когда родимые пятна прошлого все еще определяют слишком многое в нашей жизни, рискует раздуть очередную, до боли знакомую кампанию, только, может быть, с обратным знаком, которая способна окончательно добить израненную науку. Не лишне напомнить, что теоретические исследования так и не возродились в ФРГ ни в области народоведения, ни в археологии после разгрома школ, в той или иной степени связанных с нацизмом. А, например, насквозь эмпирическая испанская археология только-только начинает выползать из кризиса, хотя с момента крушения франкистского режима прошли годы. Не блещет особыми достижениями на теоретическом поприще и итальянская наука. Все это нельзя не принимать во внимание, оценивая сложившуюся у нас ситуацию и прогнозируя ближайшее и не столь уж ближайшее будущее.

В то же время случайно ли, что наиболее успешно теоретические исследования проводятся именно в американской и отчасти английской и французской антропологии с их давними демократическими традициями?

В чем же дело? При тоталитарных режимах теории в гуманитарных науках отводится особая роль — она обязана создавать идеологические основы для существования и оправдания режима. Это наблюдалось, например, в Германии при нацистах, где в услужении у них находилась даже первобытная археология<sup>5</sup>. Отчасти сходной была и роль теоретической науки в СССР. И вместе с тем было бы неверно упрощать ситуацию, так как теория в разные периоды играла неодинаковую роль, по-разному она и развивалась в различных сферах науки. В СССР принималось как должное, что советская этнография строилась на основах марксистско-ленинской методологии<sup>6</sup>, и тем самым все советские этнографы естественно считались марксистами. После баталий конца 1920—1930-х годов, стойвших науке больших моральных и людских потерь<sup>7</sup>, инोगа как будто бы и быть не могло. Фактически же идентификация с марксизмом для многих являлась пустой формальностью и ровным счетом ничего не означала. Ибо марксизм — философское теоретическое учение, но о каких теоретических подходах или выводах могла идти речь, когда подавляющее большинство этнографов занималось сбором исключительно эмпирических данных и их публикации имели преимущественно дескриптивный характер? Почему? Да просто потому, что теория у нас долгие годы отождествлялась с марксизмом-ленинизмом и никакой

особой теории студенты-этнографы не изучали, к каким-либо специальным теоретическим поискам преподаватели их не стимулировали, и ни опыта теоретических построений, ни вкуса к теории у тех, кто довольствовался лишь рамками формального обучения на кафедре этнографии, не было.

«Марксизм» нередко играл у нас совершенно другую роль, будучи знаком лояльности, позволявшим индивиду в соответствующей обстановке улучшить свое служебное положение. Ведь чем выше он жаждал взлететь по служебной лестнице, тем гуще пересыпал свои публикации цитатами из классиков марксизма-ленинизма. Цитирование, естественно, велось избирательно, в угоду моменту: в одни периоды большую популярность имели одни цитаты, в другие — иные, в зависимости от идеологического климата во властных структурах. Вместе с тем умелое цитирование порой помогало автору выдвигать новые идеи и подходы, избегая обвинений в приверженности к тем или иным «уклонам». Разумеется, это был выхолощенный марксизм, пародия на марксизм. И многие, кто прибегал к такого рода цитатничеству, заимствовали соответствующие ссылки из работ своих предшественников или коллег, даже не заглядывая в первоисточники. Глубине знакомства с оригинальными суждениями классиков это никак не способствовало. Поэтому всеобщая «марксизация» нашей науки, начатая в 1930-е годы, была иллюзией даже в 1980-е годы. Все это способно было вызывать удивление только у наших зарубежных коллег, которые неожиданно для себя не обнаруживали ничего сугубо марксистского в докладах советских ученых, звучавших на международных конференциях<sup>8</sup>.

Кроме того, марксизм-ленинизм являлся общесторической теорией высокого уровня абстракции, и многие авторы не считали нужным, а часто и действительно не сталкивались с необходимостью его применения в своей повседневной этнографической работе. Так выростала стихийная атеоретичность, пустившая глубокие корни в этнографической среде. Были, разумеется, и другие специалисты, которые сознательно избегали теории, отождествляя ее с марксизмом-ленинизмом, а последний — с идеологией советской бюрократии, с которой они справедливо не хотели иметь ничего общего.

Все это создавало не просто определенное отчуждение от теории, но и особое к ней отношение, которое стойко сохраняется и поныне. Лучшее всего это продемонстрировал В. Н. Басилов, обсуждая вопрос о сути термина «этнография» и соотношении этнографии с теорией. Для В. Н. Басилова идеальным представляется определение этнографии, данное С. А. Токаревым: «... этнография... это наука, описывающая, или изучающая, народы»<sup>9</sup>. Отождествление С. А. Токаревым описания с изучением не может вызывать удивления, так как С. А. Токарев, сделавший чрезвычайно много для развития отечественной науки, отнюдь не увлекался теорией. Столь же логично его отождествление этнографии с народоведением, на что также указывает В. Н. Басилов, ибо в обоих случаях речь идет об описании народной культуры и быта. В то же время С. А. Токарев разъяснял, что «с точки зрения марксизма-ленинизма не может быть чисто описательной науки отдельно от науки о закономерностях»<sup>10</sup>. И поэтому С. А. Токарев отвергал «буржуазную» науку этнологию — просто за ненадобностью, ибо это противоречило марксистско-ленинской позиции. Но если для С. А. Токарева это было безусловной уступкой системе с ее жестким идеологическим прессингом и цензурой, то что сия позиция означает для В. Н. Басилова, который и ныне с ней полностью солидаризуется? Ведь теперь-то можно уже не скрывать, что подавляющая часть этнографических публикаций в нашей стране насквозь эмпирична, никаких широких и глубоких обобщений в них нет, не говоря уже о попытках выявить какие-либо закономерности<sup>11</sup>.

Кстати, дескриптивность не является спецификой одной лишь нашей науки. И на Западе имеется жанр этнографических монографий, в которых детально описываются быт и культура народа и которые не претендуют на какие-либо обобщения. Ничего плохого в такого рода эмпирических работах в принципе нет, ибо они основаны на профессиональных полевых исследованиях и содержат

добротные материалы. Плохо другое — когда дескриптивность объявляется единственной задачей науки. Еще хуже, когда этому приписывается значение определенного рода теории, ибо «какая же может быть наука без теории». Прислушаемся еще раз: «...не может быть чисто описательной науки отдельно от науки о закономерностях». Трудно с этим не согласиться. Действительно, науки не может быть, но вот стремление к эмпиризму у многих наших специалистов, к сожалению, есть, эмпирических публикаций более чем достаточно. Но вернемся к В. Н. Басилову: оказывается дело вовсе не в сложившейся у нас практике, а в том, что именно Тишков «отстраняет этнографию от теоретических поисков и предоставляет ей подсобную роль»<sup>12</sup>. Все это, разумеется, не просто понять, если не задуматься, что подразумевает под теорией сам В. Н. Басилов. Оказывается, «сбор и осмысление материала — это неотделимые друг от друга стадии научной работы...»<sup>13</sup>, т. е. сбор — это эмпирика, а осмысление — это и есть теория. Но ведь и осмысление бывает очень разным. О чем же идет речь? А вот о чем: «Теоретическое богатство этнографии состоит в комментариях к конкретным явлениям, общие же закономерности, вытекающие из всего богатства разнообразных культур народов мира, в большинстве своем укладываются в рамки концепций, которые принадлежат всей исторической науке в целом. Теоретический труд в этнографии — это прежде всего рассмотрение фактического материала»<sup>14</sup>. Понятно. Но как же с закономерностями, если без их изучения не может быть науки (см. выше), а ведь именно это отдается В. Н. Басиловым на откуп «всей исторической науке в целом»? Так наука ли этнография? И кто же отстраняет ее от теоретических поисков — В. А. Тишков или В. Н. Басилов?

Ох, как не хочется ловить специалиста на слове и указывать на недостаточно продуманные, противоречивые формулировки! Да, впрочем, дело и не в них, а в том, что никакая особой теоретической работы, судя по В. Н. Басилову, этнографу и не требуется. Иначе говоря, суть этнографии сводится преимущественно к дескриптивной деятельности и к неким комментариям. Но о чем же тогда столь эмоционально спорит В. Н. Басилов? Ведь к тому же сводится и позиция В. А. Тишкова. И в западной науке этнографией называют сбор и анализ эмпирических данных о каком-либо одном обществе, тогда как под этнологией понимаются выдвижение и проверка гипотез о взаимосвязях между разными сферами социокультурных систем, и этнология основывается главным образом на кросскультурных методах<sup>15</sup>. Но уж если даже такой знающий специалист с огромным опытом полевых работ, как В. Н. Басилов, недооценивает роль теории в нашей науке, то что же говорить о многих других исследователях?

В чем же дело? Откуда столь стойкий иммунитет к теории? Вряд ли стоит напоминать, что возможности развития теории в СССР были строго ограничены жесткими рамками так называемого марксистского подхода. «Так называемого», потому что, как правило, речь шла не о подлинном марксизме, который в принципе допускает множество различных и порой даже альтернативных подходов, а о том представлении о марксизме, которое было в данный момент у данного партийного вельможи, редактора издательства или чиновника от науки, имевших почти безграничную власть судить о том, не покушается ли автор на святая святых. Да и прямые доносы своих собственных коллег в директивные органы не способствовали развитию внутренней свободы ученого. Так что теоретические исследования проходили в весьма своеобразных условиях и были далеко не безопасны. Можно ли забывать, что в 1930—1940-е годы так называемая критика на страницах научных изданий нередко влекла прямые административные санкции против не только тех, кто робко пытался возражать против пусть и мельчайших нюансов официальной идеологии, но и тех, кто был неспособен адекватно выразить ей свою лояльность? В те годы такие «теоретические баталии» открывали проигравшим прямой путь на эшафот. Но даже и в более мягкие 1960-е годы жертвам развертывавшихся на страницах нашего журнала кампаний приходилось не сладко. Зная все это, стоит ли удивляться, что теоретиков в нашей науке можно пересчитать по пальцам? И можно ли пенять тем счастливым, кто

благополучно почил, «не испытав удовлетворения быть опровергнутыми своими коллегами и учениками»<sup>16</sup>, тогда как другие нередко насильственно вычеркивались из жизни, именно «будучи опровергнутыми»...? Любознательный читатель с легкостью обнаружит материалы об этих уже канувших в лету, но отнюдь не потерявших от этого своего трагизма событиях в старых подшивках журналов и других публикациях, а вдумчивый без труда поймет, что в иные годы теоретические исследования в нашей стране были сродни работе сапера<sup>17</sup>. Так вот, зная, в каких условиях приходилось «развивать» теорию, этично ли упрекать теоретиков в якобы недостаточных интеллектуальных усилиях или скромных достижениях?

Учитывая ситуацию политико-идеологического диктата над научным интеллектом, стоит ли удивляться, что теория у нас развивалась не только в весьма неестественных условиях, но и достаточно своеобразно. Прежде всего любая новая теория или гипотеза в социальных науках должна была рядиться в марксистскую тогу. Но и марксизм у нас был далеко не единообразным. С одной стороны, имелся предельно жесткий ортодоксальный марксизм партийной верхушки, с другой — более гибкий марксизм, бытовавший в науке. Но и последний допускал определенную вариативность: он был более ортодоксальным в сфере изучения современности, особенно процессов, происходивших в СССР, и менее — в области изучения зарубежных или древних обществ. Впрочем последнее — черта лишь недавних десятилетий, а в 1930-е годы борьба за демонстрацию лояльности ортодоксальному марксизму наблюдалась даже в первобытной археологии. Как бы то ни было, скрупулезное честное изучение состояния современных народов СССР во всей их целостности было практически невозможным, и исследователям поневоле приходилось довольствоваться анализом лишь отдельных разрешенных сфер культуры и быта. Вот откуда столь гипертрофированный интерес наших этнографов к материальной культуре, так называемым народным традициям, некоторым чертам хозяйства и, кстати, картографированию, что так удивило в свое время В. А. Тишквца, и т. д. В этом, по-видимому, коренилось и стремление Ю. В. Бромлея вычленять чисто этнические черты и ограничиваться исключительно их анализом<sup>18</sup>.

В то же время исследовать отдельные сферы культуры в их взаимосвязи, особенно в социальном контексте, было почти невозможно. Вообще социальная структура оказалась наименее изученной, так как ее аналитическое рассмотрение тут же обнаруживало серьезные проблемы, обсуждать которые не полагалось. Столь же трудно было проводить глубокие целостные диахронные исследования, ибо они выявляли неблагоприятные тенденции в развитии отдельных общин или целых этнических общностей. А неприятные властям выводы считались «опорочиванием советской действительности» и их авторы преследовались.

Вот почему те профессионалы, которых интересовали общества в их целостности, должны были искать себе иную сферу применения и поневоле специализировались на зарубежных народах или первобытности. В этом отношении исследование первобытности имело особое значение, так как архаичные традиционные общества, будучи более простыми системами, позволяли отрабатывать и совершенствовать различные методы анализа и подходы и проверять те или иные гипотезы о функционировании или эволюции человеческих сообществ в целом. В частности, именно в рамках изучения первобытности было возможно проводить углубленный анализ формирования социально стратифицированных обществ и становления тирании. В определенной степени это было эзоповским языком, позволявшим говорить и о современных процессах. И именно изучение древних обществ способствовало осознанию советского режима как одной из разновидностей «азиатского способа производства» с присущей тому бюрократической государственной собственностью на средства производства и господством внеэкономического принуждения<sup>19</sup>. Потенции таких исследований сравнительного характера далеко не исчерпаны: взять хотя бы проблему перехода традиционных обществ к рыночной экономике, которая широко изучалась зарубежными этнографами в странах «третьего мира» и кросскультурный анализ которой мог бы

принести большую пользу как для понимания процессов, происходящих в стране ныне, так и для выработки оптимальных стратегий. Остается только пожалеть, что исследования первобытности оказались в Институте этнологии и антропологии поспешно свернутыми. А ведь в течение долгих лет по-настоящему теоретические изыскания проводились, за редким исключением, именно в области изучения первобытных обществ. Закрытие соответствующего отдела дирекцией при почти полной молчаливой поддержке ученого совета еще раз продемонстрировало абсолютное безразличие наших этнографов к развитию теоретической мысли, что и неудивительно, учитывая вышеотмеченные настроения и факторы.

Вообще надо заметить, что за годы перестройки в Институте этнографии были ликвидированы все отделы, сотрудники которых специализировались на аналитической работе. Тем самым и без того хлипкая теоретическая основа нашей отечественной этнографии оказалась еще более подорванной. И только в этой атмосфере стало возможно объяснять специалистам, что, мол, социально-экономические формации суть не реальные исторические образования, а своего рода «идеальные типы»<sup>20</sup>. А кто из профессионалов-аналитиков и когда представлял себе это как-либо иначе? Но надо действительно иметь за плечами большой опыт теоретической, аналитической работы, чтобы понимать роль научных абстракций, уметь соотносить их с живой реальностью, сознавать, как она отражается в научных представлениях. Разумеется, без выверенных фактических данных любая теория — ничто, но и безоглядная ставка на одну лишь полевую работу не выведет нас на новый уровень понимания происходящих процессов, не обогатит наш аналитический арсенал ничем, кроме в лучшем случае неких комментариев. Стоит ли напоминать, что этнологическая работа требует кросскультурного анализа? В то же время, обрушиваясь на «теоретиков-схоластов» и «компиляторов» (интересно было бы узнать, кого именно имеет в виду автор), В. А. Тишков фактически в принципе отрицает необходимость сравнительных исследований. Но можно ли всерьез изучать важные региональные или глобальные процессы, основываясь лишь на собственном полевом материале? Можно ли всерьез критиковать выводы ученого, исходя из иного рода данных, полученных в другом регионе и в другой исторической обстановке? И наконец, как совместить свертывание теоретических исследований в институте с о д н о в р е м е н н ы м переименованием его в Институт этнологии? Так что я, пожалуй, согласился бы с В. Н. Башиловым, что в последнее время для теоретических исследований создалась особенно неблагоприятная ситуация.

Впрочем расхожее пренебрежительное отношение к теории отчасти объясняется тем, что сам характер теории и условия ее развития при тоталитарном режиме имели свою специфику. Начать с того, что даже право на выдвижение той или иной теории во многом зависело от места индивида в научно-административной иерархии. Если получение такого права требовало от простого сотрудника значительных усилий, то зато людям, облеченным властью, это даже как бы вменялось в обязанность. Иначе говоря, поднявшись на новую ступеньку в системе научной иерархии, сотрудник, с одной стороны, получал доступ к более широкой теоретической деятельности, а с другой — обязан был проявить себя на теоретическом поприще. В итоге обладатели «высоких административных должностей» уже в силу этого считались теоретиками и носителями высшего знания<sup>21</sup>. И совершенно ясно, что теоретическая деятельность, опиравшаяся на административную власть, не могла способствовать развитию сколько-нибудь свободных и плодотворных дискуссий. Ибо любые теоретические откровения таких «интеллектуальных лидеров» тут же объявлялись вкладом в развитие марксизма, что, понятно, блокировало какие-либо попытки глубокой критики. Так что «добровольное» делегирование лидерам интеллектуальной власти, о чем пишет В. А. Тишков, нельзя не признать вынужденным или воспитанным системой, как, впрочем, и многие другие виды добровольности. И вопрос о том, можно ли было в этих условиях вести серьезные научные дискуссии, остается сугубо риторическим.

Ясно, что все это создавало совершенно особую обстановку для теоретических

штудий, которые поэтому развивались довольно односторонне. Ведь если проанализировать то, что до сих пор считается высшими достижениями теоретической мысли в нашей этнографии (концепция ХКТ, теория этноса, а также соответствующие дискуссии), то даже невооруженным глазом видно, что под теорией у нас, как правило, понимались не столько выявление и изучение каких-либо закономерностей или причинно-следственных связей, не столько объяснение процессов, сколько создание классификаций, терминологические изыскания и сводки данных, преподнесенные нередко в эволюционистской упаковке («компиляции», по словам В. А. Тишкова). Именно глобальные сводки почитались у нас за высшее достижение научной мысли, и именно они в первую очередь поощрялись и высоко оценивались начальством. Вообще общая черта тоталитарных режимов — стремление создавать нечто монументальное, будь то самая крупная в мире турбина или многотомное издание, претендующее на всеохватывающее освещение темы и тем самым ее закрытие. В этом смысле показательны многотомные серии, посвященные Великой Отечественной войне, напоминая мне среднеазиатские минареты, возводившиеся каждым последующим ханом в стремлении перещеголять своего предшественника (причем минареты, недостроенные безвременно скончавшимися предшественниками, так и оставались заброшенными). Не менее яркие примеры можно было бы найти и в нашей науке. Все это я бы назвал «синдромом поворота сибирских рек»<sup>22</sup>, что со стороны специалистов нередко являлось вынужденной игрой, ибо для обеспечения финансирования необходимо было поразить воображение соответствующего чиновника, а учитывая его слабую профессиональную компетентность, сделать это можно было только грандиозностью замысла. Ведь на разум чиновника воздействует не столько качественно новое решение, оценка которого требует высокого профессионализма, сколько цифра, чисто количественный показатель. Вот где корни гигантомании, столь любезной тоталитарным режимам. Нельзя сказать, чтобы мы ныне полностью избавились от этой в конечном счете разрушительной традиции.

Все это, кстати, объясняет и неоднократные кампании по борьбе с так называемым мелкотемьем. А могло ли происходить иное в обществе, где всем управляли чиновники, мыслившие только большими цифрами? В обществе, которому не было дела до отдельного человека с его специфическими заботами и своим собственным мироощущением? В обществе, которое стремилось к тотальной унификации в рамках «новой исторической общности людей»? Вот почему при советском режиме перманентно не в чести была психология, и психологические исследования в этнографии так и не получили развития. Замечу попутно, что как раз психологическая антропология является в западных демократических обществах одним из наиболее авторитетных научных направлений, доказавшим свои большие эвристические потенции. Что же касается того, что у нас называлось «мелкотемьем», то ведь дело не в теме, а в том, как она выполняется, какое место ученый отводит ей в более общем контексте, в рамках основных проблем, стоящих перед наукой. И здесь можно только пожалеть, что у нас долгое время тормозилась разработка теорий среднего звена, да и вообще теоретическая подготовка наших специалистов оставляет желать лучшего. Ибо без надлежащей теоретической подготовки трудно осознать место тех или иных исследовательских полей в контексте более широких познавательных задач. И многие интересные темы и идеи были у нас загублены неумелыми и слабо подготовленными исполнителями.

Напротив, поощрялась так называемая генерализация в рамках глобальных обобщений, претендующих на полное объяснение изучаемых явлений. При этом лишь единичные специалисты действительно пытались оперировать большими массивами данных, и именно они сталкивались с фактором значительной вариативности, порождавшим множество новых, порой неожиданных проблем и затруднявшим поспешные обобщения. Зато многие другие авторы, упражнявшиеся в теоретизировании, опирались, как правило, на малопредставительную выборку и волей-неволей придавали частным явлениям характер общих закономерностей,

что и вызывало бесконечные и преимущественно бесплодные споры. Наиболее отчетливо это проявлялось в терминологических дискуссиях, где отдельные их участники наделяли общие термины тем или иным смыслом в зависимости от своего достаточно ограниченного личного опыта. Такие дискуссии велись в кочевниковедении (о типах скотоводства и скотоводческой деятельности), затрагивали социальную организацию (о соотношении общины, рода, клана) и были особенно популярны в сфере теории этноса (о типах этнических общностей, этнических процессов и пр.). То же самое, кстати, происходило и в археологии, где велись нескончаемые споры о сущности и признаках археологической культуры. Надо сказать, что по отточенности формулировок мы достигли значительных высот, и здесь наши преимущества перед западной наукой, пожалуй, бесспорны. Но беда в том, что универсальная терминология, претендующая быть всеохватывающей, становится весьма расплывчатой и плохо работает в применении к конкретному материалу. И не случайно, как уже отмечалось, участники соответствующих дискуссий вне зависимости от своих позиций обычно пользовались в своей практической деятельности установившимися традиционными терминами и подходами.

Издержки этих терминологических споров заключались еще и в том, что отдельные авторы пытались придать новый смысл даже устоявшимся понятиям или же изменить содержание терминов, предлагавшихся их коллегами. Так, не успели С. А. Арутюнов и Н. Н. Чебоксаров ввести довольно удачный термин «соплеменность»<sup>23</sup>, как Ю. В. Бромлей предложил кардинально иную трактовку последнего<sup>24</sup>, что совершенно запутало дело, ибо в науке многозначный термин теряет свой операциональный смысл. Вообще игра словами и изменение значения привычных понятий — типичный бюрократический прием, расцветающий в особенности на почве тоталитаризма. За примерами далеко ходить не надо. Едва в нашей науке была сделана робкая попытка познакомить специалистов с возникшим на Западе новым направлением исследований, получившим там название этноархеологии<sup>25</sup>, как дирекция Института этнографии чисто административным путем навязала этот термин Хорезмской археологической экспедиции, сотрудники которой ни в прошлом, ни ныне этноархеологией не занимались. В результате дискредитированы не только термин, но и целое важное и интересное научное направление, о котором у большинства наших специалистов создалось совершенно превратное представление. Все это привело к тому, что этноархеологические исследования не получили у нас должного развития.

Стремление к необоснованным генерализациям коренилось в особенностях менталитета индивидов, воспитанных в условиях тоталитарного режима, менталитета, склонного считаться только с большими масштабами, признававшего только такие широкие социальные категории, как класс, этнос, половозрастные группы, и не привыкшего учитывать интересы небольшой группы населения или общины или даже отдельной личности. Отсюда и получившая у нас популярность манера критики путем огульных обвинений целых групп, слоев, классов без учета реальной роли тех или иных индивидов. Все это идет от отсутствия уважения к личности, которое воспитывалось десятилетиями господства государственных интересов. К сожалению, не избежал этой прискорбной традиции и В. А. Тишков, обрушившийся разом и на «теоретиков-схоластов», и на полевых этнографов, и на «компиляторов», а заодно и оптом на представителей отдельных наук — историков, правоведов, социологов и пр. И у меня есть серьезные основания полагать, что многие из безвинно попавших под огонь этой массивной критики по меньшей мере просто пожмут плечами, ибо воспроизводимым автором популярными среди западных антропологов идеи о роли этнического самосознания, о ситуационной этничности, об относительности этнологических знаний не только хорошо известны всем тем, кто читает западную литературу (и таких у нас не так уж мало), но в той или иной форме уже поднимались и обсуждались нашими специалистами. Так что затронутый автором вопрос об этике ученого действительно весьма актуален и заслуживает серьезного обсуждения, которое, думаю, еще предстоит. Пока же следует отметить, что не может быть нормальной этики



во взаимоотношениях между рабом и рабовладельцем, между помещиком и крепостным, иначе говоря, в условиях правового неравенства между индивидами, занимающими разные ступеньки иерархической лестницы, которая все еще определяет нашу действительность.

Вообще говоря, поиск врага, будь то коллега-ученый или «буржуазный идеолог», также является наследием нашего тоталитарного прошлого. И наши взаимоотношения с западной наукой строились до недавнего времени по принципу «вызова и ответа»<sup>26</sup>. Иначе говоря, многие из созданных у нас теорий являлись не столько результатом внутреннего развития науки, сколько своеобразной реакцией на те или иные идеи, появившиеся на Западе, были попыткой «дать отпор» или, напротив, переосмыслить критически и развить. Так, не секрет, что наша теория хозяйственно-культурных типов выросла в ходе дискуссии о культурных ареалах, начало которой было положено американскими этнологами, прежде всего К. Уисслером и А. Кребером<sup>27</sup>. А этногенетические исследования поначалу были призваны дать отпор расистской теории о приоритете «чистокровных арийцев», искусственно раздуваемой в фашистской Германии. Не лишне напомнить, что в 1930-е годы, когда установка на интернационализм особенно подчеркивалась официальной идеологией, в нашей науке возникло мощное противодействие изучению этногенеза конкретных народов, отвергающее саму идею каких-либо «прародин» или «праязыков». Но в 1940-е годы в изменившейся политической обстановке на волне патриотизма появился новый социальный заказ, требовавший развенчания претензий германских расистов и доказательства древности славянских, а заодно и других народов, населявших нашу страну. Законопослушные ученые, кстати, вполне лояльные режиму, простодушно поняли это как призыв к поиску истинных корней тех или иных народов и принялись доказывать сложность и многокомпонентность этногенетического процесса. И в конечном счете снова попались в идеологическую ловушку, ибо во многих регионах национальной бюрократии, как показывает современная действительность, потребовалось вовсе не это, а доказательства чистоты и исконности данного этноса на данной территории или по меньшей мере подтверждение его древности и генетического родства с какой-либо престижной древней общностью (шумерами, этрусками и пр.) для утверждения и закрепления этнического права на территорию. Отсюда борьба между татарами и чувашами за болгарское наследие, между армянами и азербайджанцами за албанское наследие, растущее буквально на наших глазах стремление ряда тюркоязычных ученых искать древнее тюркоязычие едва ли не повсюду и в самые отдаленные эпохи и т. д. Иначе говоря, смена классовой парадигмы на национальную в условиях все еще господствующего тоталитарного менталитета ведет к быстрому проникновению национализма в науку, что способно нанести ей смертельный удар. И эта опасность, порожденная нашим тоталитарным наследием, с угрожающей скоростью становится новой реальностью.

Всеохватывающее влияние идеологических установок, доходящее в иные годы до отождествления науки с идеологией<sup>28</sup>, породило в нашей науке еще одну черту, отличающую ее от западной. Если на Западе научные споры велись и ведутся главным образом по поводу применяемых методик, то у нас — об идеологической выдержанности концепций и формулировок. Это также сильно ослабляло нашу науку, ибо вопросы методики изучения, обработки и осмысления фактического материала никогда не становились у нас предметом серьезного обсуждения. Именно поэтому не обнаруживается у нас и желания глубже понять сущность этнографического факта и недавнее предложение В. В. Пименова обменяться мнениями по этому поводу так и повисло в воздухе<sup>29</sup>. Причем в этом отношении этнография занимает достаточно консервативную позицию даже в нашей стране. Достаточно напомнить, что отечественные археологи уже давно всерьез обсуждают проблему критики источников и сущность археологического факта<sup>30</sup>.

Тоталитарное мышление и примат государственности определяли у нас и сам методологический подход, который явно тяготел к учету в первую очередь объективных, достаточно устойчивых показателей типа культуры, языка, физи-

ческого типа и пр. Даже такая подвижная во многих других районах мира черта, как этническое самосознание, также была путем отметки в паспорте насильственно превращена в «объективную реальность». И есть все основания полагать, что этнические процессы в результате грубого государственного вмешательства происходили у нас далеко не естественным путем. Зато была создана теория этноса и выработан жесткий список народов, что оказывало содействие этому государственному контролю и регулированию. В этом отношении критика В. А. Тишковым того, что он называет позитивистской методологией, представляется мне в значительной мере справедливой, хотя я бы предпочел называть это этным подходом<sup>31</sup>.

Окружающая нас действительность показывает, насколько активным и подвижным может быть как коллективное, так и тем более индивидуальное самосознание, чутко реагирующее на все сколько-нибудь значимые изменения социальной ситуации. Меняются установки, а вместе с ними и стереотипы поведения, которые могут приводить в равной степени как к созидательной, так и к разрушительной деятельности. С чем связаны эти установки, в какую сторону они направлены и почему — решить такие вопросы с одних только этных позиций представляется затруднительным. Нам, думается, настоятельно необходимо развитие эмных подходов, учитывающих состояние умов самих носителей этнического. Многие из таких подходов уже выработаны и активно применяются в русле западных концепций этничности.

Мне кажется, что выход из нашей нынешней сугубо неблагоприятной ситуации лежит, в частности, через развитие проблемных исследований, которые в свою очередь требуют более серьезной теоретической подготовки студентов. Последнее в свою очередь невозможно без кардинальных изменений в структуре и характере обучения в вузах, где необходимо перенести акцент с региональных на проблемные курсы, сохранив региональность во вводных обобщающих курсах. Такие проблемные курсы могли бы включить экологическую антропологию, экономическую антропологию, проблемы социальной организации, антропологию пола, антропологию конфликта и насилия, поведенческую антропологию, символическую антропологию и ряд других субдисциплин. Вряд ли следует считать нормальной нашу заикленность исключительно на этносе. Возможно, следовало бы перенести акцент на изучение человека как этносоциального существа. Излишне говорить, что все указанные курсы должны основываться на сравнительных материалах и делать акцент на этническом разнообразии. Но это вовсе не означает ориентацию на какую-либо одну теорию типа теории этноса. Теорий должно быть много, причем каждое из отмеченных направлений требует развития своих теорий.

Я отчетливо сознаю некоторую на первый взгляд утопичность изложенной позиции в нынешних суровых условиях. Но я верю, что рано или поздно мы должны будем прийти к этому, и чем раньше, тем более плодотворно это скажется на развитии науки и послужит решению проблем, затрагивающих жизненно важные интересы народов нашей страны. Ибо без серьезной теоретической подготовки молодые специалисты не только не научатся решать проблемы, но даже не смогут их правильно ставить. А это обречет нашу науку на окончательную гибель.

#### Примечания

<sup>1</sup> Тишков В. А. Советская этнография: преодоление кризиса//Этнографическое обозрение (далее — 30). 1992. № 1.

<sup>2</sup> Басилов В. Н. Этнография: есть ли у нее будущее?//ЭО. 1992. № 4.

<sup>3</sup> Тишков В. А. Указ. раб.

<sup>4</sup> Там же. С. 16.

<sup>5</sup> Klein L. S. Kossinna im Abstand von vierzig Jahren//Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. Halle; Berlin, 1974. Jg. 58; Arnold B., Hassmann H. Archaeology in Nazi Germany: the Legacy of the

Faustian Bargain//A Paper Presented to a Symposium on «Nationalism, Politics, and Practice of Archaeology». American Anthropological Association Meeting. Chicago, 1991, November 23.

<sup>6</sup> Токарев С. А. Этнография народов СССР. М., 1958. С. 9.

<sup>7</sup> Марков Г. Е., Соловей Т. Д. Этнографическое образование в Московском государственном университете//Советская этнография (далее — СЭ). 1990. № 6. С. 82—83; Slezkine Y. The Fall of Soviet Ethnography, 1928—1938//Current Anthropology. 1991. V. 32. № 4.

<sup>8</sup> Smith E. A. The Current State of Hunter-Gatherer Studies//Current Anthropology. 1991. V. 32. № 1. P. 73.

<sup>9</sup> Токарев С. А. Указ. раб. С. 8; Басилов В. Н. Указ. раб. С. 7.

<sup>10</sup> Токарев С. А. Указ. раб. С. 8.

<sup>11</sup> Кетати, это отмечал и С. А. Токарев, сетовавший на неудовлетворительное состояние теоретических исследований в нашей науке. См. Токарев С. А. Указ. раб. С. 4.

<sup>12</sup> Басилов В. Н. Указ. раб. С. 11.

<sup>13</sup> Там же. С. 12.

<sup>14</sup> Там же. С. 13.

<sup>15</sup> Peoples J., Bailey G. Humanity. An Introduction to Cultural Anthropology. St. Paul, 1991. P. 92—107.

<sup>16</sup> Тишков В. А. Указ. раб. С. 7.

<sup>17</sup> В. Н. Басилов походя бросает фразу, что, мол, термин «этнология» в нашей науке не прижился, делая вид, будто отторжение этого термина произошло вполне органично. Между тем еще задолго до революции Д. Н. Анучин определял науку о народах как «этнологию». В 1925 г. в МГУ был создан этнологический факультет с тремя отделениями: историко-археологическим, этнографическим и литературоведческо-искусствоведческим. Но эта традиция была отвергнута Советским 1929 г., где этнология рассматривалась как «буржуазная» наука, якобы противостоявшая историческому материализму (см. Этнография. 1929. № 2. С. 117). После этого этнологический факультет был закрыт, а автор первого советского учебника по этнологии П. Ф. Преображенский погиб в заключении (см. Марков Г. Е., Соловей Т. Д. Указ. раб. С. 82).

<sup>18</sup> Вопреки В. Н. Басилову это не каприз Ю. В. Бромлея, а давняя установка советской этнографии — см. Толстов С. П. Основные задачи и пути развития советской этнографии//Кр. сообщения Ин-та этнографии. 1950. Вып. 12. С. 5.

<sup>19</sup> Стариков Е. Фараоны, Гитлер и колхозы//Знамя. 1991. № 2; Семенов Ю. И. О первобытном коммунизме, марксизме и сущности человека//ЭО. 1992. № 3. С. 38.

<sup>20</sup> Тишков В. А. Указ. раб. С. 7.

<sup>21</sup> Во многих случаях это, кстати, вело к имитации научной деятельности, расцвету квазинауки и формированию мафиозных «научных школ» — см. Леглер В. А. Идеология и квазинаука//Наука и власть. М., 1990. С. 5.

<sup>22</sup> Шнирельман В. А. Выступление в дискуссии по итогам конференции «Закономерности исторического процесса в Азии, Африке и Латинской Америке: стереотипы и новые подходы»//Восток. 1991. № 4. С. 110.

<sup>23</sup> Арутюнов С. А., Чебоксаров Н. Н. Раса, популяция и этнос. М., 1970. С. 11—12; их же. Передача информации как механизм существования этносоциальных и биологических групп человечества//Расы и народы. 1972. № 2. С. 23; Арутюнов С. А. Этнические общности доклассовой эпохи//Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М., 1982. С. 66; Арутюнов С. А. Народы и культуры. М., 1989. С. 25.

<sup>24</sup> Бромлей Ю. В. Опыт типологизации этнических общностей//СЭ. 1972. № 5. С. 65; его же. Очерки теории этноса. М., 1983. С. 50.

<sup>25</sup> Шнирельман В. А. Этноархеология — 70-е гг.//СЭ. 1984. № 2.

<sup>26</sup> По В. А. Леглеру, такая ориентация очень характерна для квазинауки (Леглер В. А. Указ. раб. С. 5 сл.).

<sup>27</sup> Чеснов Я. В. Теория «культурных областей» в американской этнографии//Концепции зарубежной этнографии. М., 1976.

<sup>28</sup> Алпатов В. М. История одного мифа. Марр и марризм. М., 1991. С. 99—100; Леглер В. А. Указ. раб. С. 14.

<sup>29</sup> Пименов В. В. Этнографический факт//СЭ. 1990. № 3. Ср. также весьма показательную реакцию В. Н. Басилова на некоторые достаточно непривычные для нашего читателя рассуждения К. Гирца. В. Н. Басилов безусловно убежден, что «этнограф ... способен понять другую культуру». Никаких проблем он здесь вполне искренне не видит.

<sup>30</sup> Клейн Л. С. Археологические источники. Л., 1978; Шнирельман В. А. Археологические источники//История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. М., 1983. С. 54—68.

<sup>31</sup> Шнирельман В. А. Обсуждение статьи З. П. Соколовой «Эндогамия и этнос» [Участие в дискуссии]//ЭО. 1992. № 3. С. 85—90.

## Scholarship under Totalitarian Regime

Soviet Ethnography was formerly highly affected with the political and ideological pressure that determined the fields of research, methodology, the ways of selecting and processing data, and, especially,

the formulation and presentation of the results of study. Anthropological theory developed along very specific lines, as well, dealing especially with producing typological schemes and introducing more rigid terminology rather than exploring causes and effects. There was a large gap between theoretical and empirical (field) studies in terms of both persons involved and their mentality. The author analyses a very complicated and uneasy situation with theoretical studies that fluctuated between external order from the side of official ideology, on the one hand, and internal challenge from the side of scholarship. A unique feature was that theoretical fields were usurped by those in positions more often than not. And theoretical «advances» were supported with administrative power. That is why academic leadership was highly formalized, and opponent's positions were poor at any case. To put it another way, a scholarship was highly buraucracized that is unfortunately still with us. On the other hand a scholarship is endangered with an increase of nationalism now that is also strictly connected with totalitarian inheritance.

*V. A. Shnirelman*